

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

ПАМЯТНИКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ В КНИЖНОМ СОБРАНИИ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОГО МОНАСТЫРЯ В XV СТ.

Протоиерей
Андрей ЦИГЕЛЬ



Минская духовная семинария, бакалавр богословия — 1999; Московская духовная академия — 2003; Минская духовная академия, кандидат богословия — 2013.

В летописной статье, датированной мартом 1402 г., читается краткое, но поразительное по точности обобщение военного и геополитического положения Руси: «... явися знамение на западе, в вечерней зари, звезда велика зело, копейным образом... — се убо прояви знамение, понеже возсташа языцы воевати друг на друга: турки, ляхи, угры, немцы, литва, чехи, Орда, греки, руси, и иныя многая земли и страны смятошеся и ратоваше друг на друга. Еще же и моры нача являтися...»¹. И в этом ярком изображении повсеместных раздоров между едва ли не всеми известными в то время народами нет преувеличения: то была, если прибегнуть к метафоре, эпоха тектонических сдвигов на этнической карте евразийского материка, эпоха тяжелейших потрясений. На фоне «великой заматни» в Орде усилилась борьба зависимых народов. Булгарские княжества окрепли настолько, что дерзали приглашать на свой престол царевичей. Нарастало противостояние Орде на Кавказе и в Средней Азии. Армия победоносного Тимура после разгрома войск Тохтамыша ворвалась в Поволжье и разгромила все крупные города, включая Сарай и Булгар. Русь, обескровленная победой на Куликовом поле и пережившая разгром Москвы в 1382 г., осталась все-таки не покоренной и накапливала силы для решающей борьбы — не только за освобождение от иноземного подчинения, но и за внутреннюю консолидацию. Московские князья в то время еще не обладали достаточными военными и политическими ресурсами для объединения всех русских земель. Этими ресурсами располагал великий князь литовский Витовт. Используя тонкую политическую игру, которую он искусно вел с польским королем, Ливонским орденом, Московскими князьями и Ордой, Витовт начал завоевание гегемонии в Восточной Европе. Великий

князь московский Василий, сын Дмитрия Донского, хотя и был женат на Софье Витовтовне, с тревогой следил за действиями литовского соседа, зная, что помешать ему он не в силах. Спаса ситуацию битва на Ворскле 12 августа 1399 г., вошедшая в историю как одна из самых страшных и кровопролитных битв средневековья...

Итогом этой трагической эпохи стало крушение Византийской империи, которое вполне вписалось в эсхатологические ожидания - заканчивалась седьмая тысяча лет, приближался роковой 1492 г. И именно в эти грозные времена зарождался новый центр Православия - Московская Русь. И именно в XV ст. появляются в регионе *Slavia orientalis* произведения, в которых осмысливается проблема власти - ее природы, допустимых пределов, ее задач и значения для государства. Разумеется, не остался в стороне и Троицкий монастырь, ставший во втор. пол. XV ст. «государевым богомолем». В рукописях его библиотеки, читаются произведения, живо откликающиеся на сложные процессы, формирующие Московское царство, потому и имеют оттенок политической сатиры.

Ярким примером такого произведения является «Притча Сифа Антиоха о зверех Стефанита и Ихнилата; друзии же мнеша Иоанна Дамаскина, зело песнописца и канонотворца»² - в научном обороте известная как повесть «Стефанит и Ихнилат». От XV ст. сохранилось всего три списка этой повести, один из которых - троицкий.

«Стефанит и Ихнилат» - книга басен, появившаяся на Руси в XV ст., но широкое распространение получившая лишь в XVII ст. (списков XVI ст. пока не обнаружено). В основе ее - индийский эпос IV ст. (сохранился в санскритском сборнике «Панчатантра», то есть Пять назиданий), где мудрец-брахман на примере жизни животных говорит царю о «разумном поведении». В XI ст. арабский писатель Абдаллах ибн Ал-

Мукаффа на основе этого индийского эпоса (к арабам он попал через персидское посредство) создал пространный басенно-новеллистический цикл, дав ему название «Калила и Димна» - так назывались два шакала, которых Ал-Мукаффа сделал главными персонажами в добавленных им первых двух главах книги. Именно версия Ал-Мукаффы стала основой всех многочисленных редакций этого произведения, как на Западе, так и на Востоке, в том числе и в Византии. Греческий перевод сделал в XI ст. придворный врач императора Алексея Комнина Симеон Сиф, который перевел имена Калилы и Димны как Стефанит и Ихнилат (то есть «увенчанный» и «следящий»). Во второй половине XV ст. через южнославянское посредничество цикл попал в восточнославянский регион: в списке «Стефанита и Ихнилата» ГИМ. Синод. № 367 имеется приписка, в которой указано, что эта книга, переведенная «з греческих книг на русский язык», «писана... последнего сего ста седьмые тысяща 87-го октомврия» - то есть в октябре 6987/1478 г.³

В троицком списке этот басенный цикл определен как притча. Действительно, в древнерусской книжности были весьма популярны произведения, по форме близкие к басне, - такие, как притча или аплог. Однако характер иносказательности этих произведений был принципиально иной - они завершались ясной и четко выраженной моралью, не допуская неопределенности или двусмысленности истолкования. Басни «Стефанита и Ихнилата» построены совершенно иначе: поступки их героев не могут быть оценены однозначно; сюжетные коллизии порой разрешаются непривычно для распространенной в культуре Руси христианской дидактики: добродетель то и дело терпит поражение - побеждает не правый, а сильный или, чаще, хитрый. И в целом история эта местами весьма напоминает социальную сатиру, в своем существе противоречащую христианскому учению, основанному на любви не только к

ближнему, но и к врагу. В событиях «Притчи... о Стефаните и Ихнилате» можно, при желании, угадать аллюзии реальных событий и ситуаций русской истории.

В первой главе читатель попадает в лесное царство царя-Льва, «возносливого и гордого и скудного мудростью» - концепт абсолютно чуждый представлениям о власти в древней Руси. Царя окружают придворные-животные, но «мудроумные звери» Стефанит и Ихнилат не входят в их число — они «присядьт царьским вратом», то есть служат сторожевыми псами. Причем звери эти имеют «различнии мудроумнии обычаи»: Ихнилат «лукавень бяше нкако душею и много разум вещьм достизание», то есть падок был до наживы; Стефанит же, напротив, рассудителен, осторожен и нестяжателен.

Когда в лесу появляется неизвестное страшно «рыкающее» существо, Лев трусит и, хотя старается скрыть свой страх, становится «яко леду померзъшу, и по обычаю нкому же насиляющу». Видя это Ихнилат задумывает интригу и хочет поделиться задуманным со Стефанитом, но тот строго говорит ему: «Нсмы достоини о царех бесдовати, ниже о них сматряти. Престани убо от таковых...». Лукавый Ихнилат возражает ему: «Познай, яко всяк, приближайся царю, не за ради житейскыя пища приступает, но славы желает, еже възвеселити други, враги же опечалити. [...] Высокоумный же муж не до нижних стоит и худых, но горняя ищет и достойнаа им гонит. Якоже и лев, аще заеца дръжит и видит вельблюда, оставляет заеца и вельблюда гонит». Таким образом, читателю предложены два способа отношения к высшей власти: бездумное подчинение при абсолютном невмешательстве в дела властителей, - позиция, занятая Стефанитом, которую - это очевидно - разделяет и автор произведения; и своекорыстное использование затруднений, в которые попадает властитель, - позиция Ихнилата, который, в оправдание этой

своей позиции произносит вроде бы очень правильные слова: «Подобает убо и нам горняя искати, елико по сил, и не точию о своем степени стояти, но и на други преходити». Однако под «горним» сей «мудроумный зверь» понимает вовсе не духовные ценности, каковым следует стремиться, а вполне меркантильные цели: «Хощу бо, - признается он, - Лвова сумнния присвоение обрсти, еже к нему бесдованием, зрю бо его ужасна и всюду недоумюущаяя вкуп съ своими воины, и мно, яко получу достоиние нкое от него... егда приближуся къ цареви и разумю обычаи его и нравы его и угодя ему хитростью о всем, и мнит ми ся, яко таковым образом възлюбит мя Лев и болша от иных покажет мя».

Ихнилат является ко Льву и, выведав причины его «сумнения», отправляется искать «рыкающего» зверя и находит... Тельца, брошенного своим хозяином, но нашедшего поле «травносно и водно», на котором он «зло отолст и отучн». Телец сыт, а потому добродушен и не опасен. А «нача велми рыкати» что называется от полноты жизни. Ихнилат приводит Тельца ко Льву и тот на радостях приближает его к себе, забыв о своем бывшем советнике Ихнилате. Ихнилат «позавид ему» и, чтобы вернуть себе «пръвое свое достоиние», затевает интригу - ссорит Льва с Тельцом, рассказывая каждому из них о коварных замыслах другого. Глава заканчивается тем, что Лев убивает Тельца.

Вторая глава повествует о суде над Ихнилатом и его казни. Но это - «внешний» сюжет; «внутренний» же состоит в показе остроумной самозащиты Ихнилата, которому удастся обоснованно доказать, что и все остальные персонажи (включая царя-Льва, убившего своего фаворита по наговору), ничуть не лучше подсудимого. Уличить же Ихнилата не удастся никому. А потому его казнь представится не как торжество правосудия, а как результат нечистоплотных интриг матери Льва.

Основной коллизией многих иных басней этого цикла было именно столкновение хищного «кровоядца», простака «травоядца» и хитрого «зверя», дурачившего их обоих. Но в первой басне коллизия обострялась тем, что хищным «кровоядцем» был Царь. Многие исторические события, происшедшие в восточнославянском регионе в XV ст., и, думается, еще более те, которые ожидали Русь в XVI ст., подпадали под эту притчевую схему. Так что этот басенный цикл выступает одновременно и притчей, и зловещим пророчеством. Думается, отнюдь не случайно это произведение интенсивно переписывалось (а значит, и читалось) в старообрядческой среде. Однако разрешенные коллизии здесь далеко от принципов христианской нравственности.

Специфика Троицкого списка «Притчи» в том, что он начисто лишен разного рода назидательных вставок, которыми пестрят два другие списка XV ст. и которые встречаются в списках XVII ст., что усиливает социальную заостренность «Притчи», в которой под словами действующих лиц звучат откровенные «советы» власть имущим, актуальные, в общем-то, во все времена: «Не подобает властелину презирати разумна мужа, аще от долна части суть, но коемуждо по достоянию даяти, аще и нжи негодуют»; «... излихия гласы празды бо суть, аще и велми слышятся»; «не подобает властелину ввврити своа словеса и своа тайны... несыту мужу и лукаву, и прочим таковым»; «мнози бо от сильных немощными побдишся»; «враждующе нжи нкыа своими стми яти бывають»; «шестьми бо вещьми царь небрегом есть и низлагається: еже не искати полезнаа времени, но лютостью умякчатися; а идже подобает кротти, ту сверпети; и еже не имти разумнаа и врныа своа совтники; и еже страшити и крамолити своа люди; и еже побжену быти в безсловесных похотех; и побжену быти яростью, - к сим же разсматряти временнаа приложениа» и т.п., что звучит и как обличение уже бывшего, и как зловещее пророчество надвигающемуся будущему.

Другое произведение, в котором поднимается проблема власти — «Некогого мудреца Ерихоньска, нарицаемаго именемъ Мамамера, слово о последьних летех и днех»⁴, в научном обороте получившее наименование «Сказание о 12 снах Шахаиши» — также памятник переводной литературы (предполагается, что со среднеперсидского). Считается, что старший из обнаруженных в XV ст. списков этого произведения — Кирилло-Белозерский⁵.

В произведении повествуется о том, как мудрец Мамамера (Митра) толкует персидскому царю Шахаише (ср.-перс. Шахиншах — царь царей) смысл его снов — пророчеств о будущих временах. Каждый сон предвещает разрушение всех устоев, падение нравов, бедственную жизнь, оскудение всего. Основную часть «Слова» составляет толкование первого сна Шахаиши, где предсказываются многие тяжкие испытания и беды человечеству за моральное падение, после чего наступит конец света. Эти строки и сегодня звучат весьма актуально: «Приидеть время то злое — от вьстока до запада и по всемь градамь зло много будет, и мятежь во всехь человецехь. Не будеть права сердца ни мысли, и Божия заповеди не сохранять. Друг другу будеть врагь, а князь будеть на князя, и стареишины и старьци на точныя себе. И в то время злое не будеть кто добра смыслити или сътворити — языком глаголять добро, а въ сердци мыслить злая. И пакы врази будуть мнози, много зла сътворять, а добра мало. Закону будуть учителя, а сами по закону не творяще. Инехь учять, а сами не творять. Бремена накладывают, а сами единымъ перстомъ не прикоснуть. Все будуть учителя, а учащагося не обрести. И будуть глади; стихия пременять обычая своя: осень преступит на зиму, и зима упадеть на весну, среди лета зима будеть, и хотящеи сеяти семена соблазнити их время. Занеже не уразумеють времени подобна, много всеють и мало пожнуть... Любы престанет, тогда отца и

матере не почтять, ни рода, ни ближника... инии жены поимут и от блудниц чад приживуть. Отця и матере не помнять. Въ то же время злое князи и боляре, и старци, и ратаи, и вси людие купци будутъ. Земля скратиться: далечи пути близъ будутъ. Ветхьи обычаи престанеть и вси велможии будутъ крамолники, которници... и судити имуть по мзде..." Толкования остальных снов повторяют, уточняют и дополняют это первое толкование. Апокалипсические темы обычно возникали в тяжелые для судеб государства времена. Мрачные предсказания «Слова» виделись древнерусскому читателю, жившему в XV веке уже исполняющимися и подтверждающимися ожидание скорого конца света (в 1492 г.).

«Сказание о 12 снах Шахаиши» в светской науке квалифицируется как произведение зарождающейся светской литературы. Однако очевидно, что оно не выбивается из ряда традиционных церковно-назидательных поучений; вполне возможно, что читатель воспринимал его как именно типологически подобное известному библейскому рассказу о толковании Иосифом снов фараона, а также — как пророчество, сходное и в содержании, и в форме изложения с ветхозаветными пророчествами. Особенно, если помнить, что интерес к нему возник в эпоху сложнейших и трагичнейших исторических коллизий, да еще случившихся в ситуации ожидания конца света. Поэтому вряд ли правильно считать его светским произведением.

Интересна для нашей темы и небольшая статья без названия, которая начинается весьма характерно: «*Бысть Дарианъ царь и повеле бояромъ своимъ звати ся богомъ...*»⁶ - переводной памятник, в научно обороте называемый «Сказание о Дариане-царе» (в других списках «слов», «повесть» о Адариане, Дарии), источником которого является рассказ из Мидраш Танхума - сборника средневековых еврейских толкований на Ветхий Завет.

«Сказание» включилось в культурно-исторический контекст *Slavia orientalis*, думается, не случайно. Его содержание привлекало те слои древнерусского общества, в которых поддерживалась мысль о превосходстве духовной власти над светской - священства над царством в период роста политического могущества Московского государя.

«Сказание» направлено против царского высокомерия. Образ гордого царя Дариана, возомнившего себя богом, - литературный вариант библейского образа вавилонского царя Навуходоносора - живо напоминает собирательный образ московских государей этой эпохи, претендующих на абсолютную власть в державе. А потому читателям, предпочитающим превосходство священства над царством, весьма импонировали смелые возражения философа, не только осудившего гордыню и развенчавшего непомерные претензии царя, но и указавшего ему на неминуемое возмездие, припомнив слова пророка Иеремии: «...бози, не створивъше небеси и земля, да погибнуть. Аще хощеши погибнути, царю, взовися богомъ!» Вместе с тем «Сказание» заставляет читателя задуматься над рядом вопросов, безусловно, занимавших в эту эпоху все восточное славянство: о бессмертии души; о различии божественного и человеческого; о природе божественной власти и власти царской; о соотношении этих обеих; наконец, о формах и пределах власти земного царя. Весьма показательно в этом смысле то, как заканчивается это небольшое произведение: мудрая царица, «утешая» своего гордого мужа, говорит, что, разумеется, он — царь и как царь достоин называться богом. Вот только, - советует она, - чтобы называться богом, нужно сначала возвратить Богу то, что Он тебе дал. Что же это? - интересуется царь. «Възврати душу, юже вдалъ Богъ в тело твое, а тогда зовися богомъ!» И тут царь понимает, что если не станет души в его теле, то он уж точно не сможет называться богом. Тогда мудрая

царица резонно поучает мужа: «Да аще душею своею не обладаеши, то ни богомъ можеши призватися». Последняя сентенция в эпоху грозных московских государей звучала вовсе не двусмысленно и могла стоять переписчику жизни...

Таким образом, книжность Сергиева монастыря в XV ст. выступает как своего рода индикатор происходящих в церковной культуре *Slavia orientalis* процессов: отвлекаясь от собственно духовных проблем (содействие богопознанию-обождению-спасению верующих), церковные «списатели» обращают пристальное внимание к проблемам социальным и геополитическим, таким как осмысление природы и пределов государственной власти; способы и цели содействия этой власти со стороны поданных; возможные последствия ошибок, допущенных в этой сфере. Показательным для характеристики церковной культуры восточного славянства в эту эпоху является то, что означенные проблемы решают-

ся не в категориях святоотеческого учения (антропологии, эсхатологии, сотериологии) и не в контексте домостроительства спасения, свидетельствуя о подспудной внутренней секуляризации, затронувшей церковное сознание.

Примечания:

¹ Полное собрание русских летописей. Т. 12. — Москва, 2000. — С. 187.

² Российская Государственная библиотека (РГБ). Ф. 304. № 765. Л. 255-280 б.

³ Ср. Словарь книжников и книжности древней Руси.

⁴ РГБ. МДА фонд. № 162. Л. 1-5 б.

⁵ Российская национальная библиотека. Кир.-Бел. № 22/1099.

⁶ РГБ. Ф. 304. № 729. Л. 195 б — 196 б.